Карина Седова

ШАЙМАРР

Дрэммар • Ирмаун • Орра



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Карина Седова
Шаймарр. Том 2. Ирмаун

https://litres.ru/74819242
SelfPub; 2026

Аннотация

Сто лет Дом Тэнгорр платит за триста мест во вэрре. Места записаны на детей, умерших в Год Хэйша. Каждую весну их становится на одно меньше.

Старая вэрница Шимма Фро впервые в жизни находит в своих книгах недостачу.

Она отправляет крэннера туда, куда крэннеры не ходят, – в сток под Иммарром.

Город прячет от себя то, что Тавьер увидит за ржавой решёткой. Прячет не от злобы, а от стыда.

(Внимание: перед чтением обязательно ознакомьтесь с бесплатным первым томом «Шаймарр. Том 1. Дрэммар»).

Содержание

Глава 1. Два пальца, которые больше не вяжут. 4
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Карина Седова
Шаймарр. Том 2. Ирмаун

Глава 1. Два пальца, которые больше не вяжут.

Пэлла Дронн принесла урну утром второго дня. Тавьер слышал её всю дорогу по сорока двум ступеням: седьмая скрипнула, на двадцатой Пэлла выругалась на собственную спину, на тридцатой остановилась, и он знал, почему она стоит именно там, хотя щёлоком оттуда больше не пахло. Дверь открылась без стука. Пэлла вошла боком, неся что-то перед собой на вытянутых руках, и переступила порог так, будто порог мог её толкнуть.

– Ты ж не запомнил ничего, – сказала она вместо «здравствуй». – Она тебе сказала, куда идти и когда, а ты стоял как полено. Я так и знала. Я запомнила.

Урна была маленькая, меньше, чем он думал. Серая глина без глазури, гладкая, ещё тёплая, от печи или от Пэллиных ладоней. Крышка залита воском, и в воске оттиснут чей-то большой палец, завитки кожи. Ни имени, ни года. Пэлла по-

ставила её на подоконник у высокого табурета, сдвинула на палец влево, на палец вправо, отступила и поглядела.

– Носильщики её ночью забрали к себе на двор, – сказала она урне. – На Ратхов двор, за Домом. Там печь, как у пекаря, только белёная, и никто ничего не печёт. А потом дают вот это. Я ухом прикладывалась. Всю дорогу. – Она помолчала. – Ни шороха. Тихая урна, так и называется.

Тавьер не ответил. Пэлла кивнула сама себе: другого она и не ждала.

– Ешь, – сказала она уже от двери. – Я там внизу похлёбку оставила. И окно не закрывай. Она не любила.

Дверь стукнула. Седьмая ступень скрипнула. Тавьер остался один.

Пепел в Ирмауне не молчит. Сто сорок лет он шуршит в урнах на подоконниках и в нишах, на полках у лаххеров и в сундуках у вдов, переговаривается по ночам с соседними урнами, путает имена, просит пить, считает чужие шаги, и торговцы на ярмарке берут отдельную плату за урну, которая шуршит потише. Детей пугают дедушкиной урной на верхней полке: будешь плохо спать, он тебе расскажет, как горел.

Пепел Мэввы Ним молчал.

Про тихие урны он слышал. Их не продают, их отдают, триста в год, и говорили, что такая урна стоит дороже дома, в котором стоит, и что к ним ходят прикладывать ухо и плачут не от горя, а от зависти. Тавьер не очень верил. Теперь верил.

Он не спал с той ночи. Тогда он честно лёг на кровать за занавеской, под полками с банками, смотрел на пятно копоти над печной трубой и ждал. Чего ждёт, понял, только когда обнаружил, что в паузах между стуком крэнны за стеной и кашлем Обба на крыльце его тело ставит числа. Двенадцать. Тринадцать. Двадцать три года он засыпал под материнский голос, на сороковом или пятидесятом вдохе, не дослушав. Голоса не было, тело ждало сорокового, сороковой не приходил, и уснуть было не на чем, как не на чем лечь, если из-под тебя вынули кровать.

На рассвете, сидя на полу у табурета, он услышал, что кто-то в комнате считает. Сипло, с паузой перед каждым числом: «сорок один, сорок два». Он поднял голову и понял, что считает сам. Вслух, её голосом, с присвистом на выдохе, которого у него никогда не было. Он зажал рот ладонью, и под ладонью губы всё равно сказали: «сорок три».

Больше он вслух не считал. Про себя считал всё время.

Шарф лежал по комнате кольцами. В ту ночь Тавьер собрал его к кровати, весь, до последней петли, и с тех пор не трогал. Кольца осели, сползли друг с друга, и теперь шарф занимал полкомнаты, мягкий, тёмный, полосатый, как берег после паводка, где каждый слой ила означает свою весну. К печке не пройти, не наступив. Тавьер наступал. Шерсть под босой ступнёй была тёплая, хотя печку он не топил второй день. Поднять шарф он не мог: поднять значило решить, куда положить. Ничего не выбрасывай.

Табурет стоял у окна пустой. Урна стояла рядом, на подоконнике, на высоте, где двадцать лет было материнское лицо, и когда Тавьер поднимал глаза от пола, он видел сначала урну, а уже потом Тэмху за ней: крыши красилен, бельё на верёвках над улицами и внизу тёмный круг шахты, над которым по утрам поднимался пар.

Он ушёл за занавеску, к банкам. Там хотя бы что-то шевелилось.

Сорок три руки на трёх полках над печной трубой стучали всегда, каждая в своём ритме, мелко, вразнобой. Пекарь мял шерсть. Ключница тянулась к крышке. Скрипач выводил свою гамму и на одной ноте всегда запинался. Малой сжимался и разжимался. Тётка Хадда на верхней полке щи-

пала воду. В то утро все они разом замахали ему, как машут с причала, а потом замерли, и он долго боялся, что больше не застучат. Застучали к вечеру. Сначала Тихоня, потом остальные, каждая опять по-своему. Ему было стыдно, что он так этому рад.

Он шёл вдоль полок, касаясь каждой банки, и на нижней полке, в углу у самой трубы, рука его остановилась.

Эта банка была меньше остальных, из-под мёда, с отбитым краем горлышка. На шерсти в ней лежали два пальца. Безымянный и мизинец, левые, женские, с красной растрескавшейся кожей и ногтями, которые от щёлока росли внутрь. На других банках углём было написано, где он их нашёл: «Гребец, Красильный, водосток», «Малой, канава за красильнями». На этой стояло одно слово: «Мамины».

Ему было двенадцать. В прачечной на Харров стоял каток, тяжёлый, на двух валах, на нём отжимали простыни для Иммарра, и Мэвва, которая уже тогда задыхалась и никому не позволяла себе помогать, придержала простыню на полпальца дольше, чем следовало. Вал взял два пальца и отдал на другой стороне, плоские, белые, ещё тёплые. Ваймер на Дымном спуске назвал цену, за которую пришил бы, и Мэвва сказала ему, куда он может засунуть свою иглу. Пальцы она принесла домой в кармане передника, в мокрой тряпке,

и высыпала на стол перед сыном.

– Ставь к своим, – сказала она тогда. – Пусть привыкают. Сорок шесть.

Он поставил. Одиннадцать лет два пальца лежали в банке и вязали. Спиц у них не было: безымянный загибался, перехватывал что-то невидимое, мизинец подтягивал и держал шерсть натянутой, чтобы петли ложились одна к одной. Весь день, всю ночь. Когда мать за стеной вязала настоящее, они попадали с ней в такт. Мать говорила, что лишние пальцы у неё всегда были умнее остальных, потому и сбежали.

Пальцы лежали неподвижно.

Кожа на них стала серой, восковой, ногти потемнели у корня. Мизинец остался подогнут крючком вокруг пустоты и держал петлю, которую уже некому было снять. Тавьер открыл банку и коснулся его кончиком своего. Палец был холодный. Не прохладный, как крэнна к утру, когда отойдёт от тёплой трубы, а холодный тем холодом, которого он за всю жизнь касался один раз: на пороге «Хэнниш», через тёмно-красную шаль, когда держал кошку Шиммы над ямой. Холодом вещи, которой ничего не нужно.

Он стоял с открытой банкой и вспоминал то утро. Полки

машут, все разом, и он не смотрит в угол у трубы. Теперь он знал, что там было. Два пальца, которые не махали. Которые остыли в ту минуту, когда за его спиной распрямилась кровать.

Вурха учила его этому, когда ему было семь. Они нашли под мостом ухо, старое, мягкое, холодное, и Тавьер испугался, что слишком долго нёс и что-то испортил. Вурха взяла ухо своей маленькой третьей рукой, подержала, понюхала и сказала, что ухо тут ни при чём. «Хозяин ночью ушёл. Его читали вчера, Сорру с Дымного. Всё, что от человека отвалилось, где бы ни валялось, хоть в шахте, хоть у тебя в кармане, остывает с ним в одну минуту. Как свечи в доме, когда дверь открыли». Потом велела отнести ухо вдове Сорры, в чистой тряпке. «Это называется принести остывшее. Отдаёшь в руки. Не на порог, не в окно, в руки. И говоришь, где лежало. Им надо знать, где лежало». Вдова развернула тряпку и вдруг засмеялась: он всегда грел это ухо у печки, а оно всё равно мёрзло.

Остывшее относят семье.

Он закрыл банку, взял её обеими руками и вынес из-за занавески. Прошёл по шарфу. Поставил банку на подоконник слева от урны, так, чтобы стекло касалось глины.

– Лежали на нижней полке, – сказал он вслух. – У трубы. В углу.

Никто его не услышал. Он сам себе был семья.

Еду начали носить к полудню.

Носили, как на хаммэ: в лучших мисках, под полотенцами, с поклоном у двери. Первой пришла Гарра Тамм с рыбой, запечённой в листьях, той самой, что она четыре раза грела для Мэввы. Поставила на стол, посмотрела на табурет и на урну, открыла рот, закрыла, взяла его лицо в горячие влажные ладони, подержала и ушла. Прачка с соседней террасы, красная, полная, с руками, сморщенными от воды, принесла плоский хлеб, сказала: «Я неправильно отжимаю», заплакала и ушла. Мальчишка от красильщиков принёс горшок с чем-то горьким и травяным, сказал, что от Лойта, и убежал. Сам Лойт до вечера сидел на девятнадцатой ступени, на выцарапанной рыбе, спиной к дому, а Тавьер не спускался, и так они просидели каждый на своём месте, пока не стемнело.

Тумма, кэйна с нижних улиц, маленькая, сухая, в платке, завязанном под подбородком так туго, что лицо сморщилось орехом, пришла с котелком каши. На поясе у неё висело железное кольцо с одиннадцатью ложками, деревянными, медными, одна костяная, и Тумму на нижней Тэмхе слышали

раньше, чем видели.

– От Обба, – сказала Тумма. – Из его горшка. Он велел. Сам не ест, говорит, всё равно, пусть хоть мальчик поест. – Она поставила котелок и огляделась. У неё за щекой ворочалась целая сплетня, и она не знала, с какой стороны к ней подойти. – У Мыльной, у Веллы, лавку подновили, – сказала она наконец. – Она свистит теперь по-другому. – И, совсем растерявшись: – Ну. Ешь.

Никто не знал, что говорить после.

Что делать до, в Ирмауне знали все. До говорили «лёгкого тарха», накрывали стол, смеялись, рассказывали, каким человек был маленьким и синим, ставили ему лучший кусок рыбы, даже если он больше не ест. А после случалось у трёхсот семей в год на шестьсот тысяч, и каждая такая семья придумывала сама и никому не рассказывала, что придумала. Поэтому люди приходили, ставили миски, держали его за лицо, за рукав, за плечо, смотрели на урну и уходили, так и не придумав.

Вечером Пэлла перемыла миски в тазу, составила стопкой у двери, чтобы утром разнести, и всё это время ворчала: рыба у Гарры пересохла, Лойт сидит на ступенях сычом и пугает Гэвву, у Обба в горшке опять подгорело. У двери она

обернулась из-под своего крыла, посмотрела на Тавьера, сидевшего на полу у табурета, и сказала то, что говорят на всех лестницах Ирмауна, когда уходят:

– Ну, лёгкого тарха.

И услышала. Зашипела, сплюнула через крыло на порог и растёрла плевок ногой.

– Тьфу. Кому теперь. – Она постояла. – Языку не прикажешь. Сорок лет одно и то же говорю, а теперь кому. Спи, слышишь. Спи.

Он не спал.

На следующий день Тэмха начала на него смотреть.

Он заметил это не сразу: на него никогда не смотрели, и он не знал, как это выглядит. Утром он спустился с двумя вёдрами к колонке на Красильном спуске, и три прачки и старик-красильщик с синими по локоть руками замолчали. Прачки отступили от колонки. Старик снял шапку и держал её у груди, пока Тавьер наливал, и вода била в жесть громче, чем он когда-нибудь слышал. Когда он пошёл назад, одна из прачек сказала ему в спину, негромко, как говорят «здравствуй»: «Дошёл». Другая сказала: «Мать донёс». Тре-

тья только тронула его рукав двумя пальцами, быстро, отдёрнула руку и посмотрела на пальцы.

На седьмой ступени, той, что качается, лежали вещи. Пирог в бумаге. Пучок горькой травы, какую вешают от моли. Медная монета. Чья-то прядь, перевязанная красной тесьмой. Деревянная лошадка без одной ноги. Он видел такое один раз в жизни: на пороге «Хэнниш», вокруг кошки, когда люди сами не понимали, зачем несут. Он не понимал, зачем несут ему. Он ведь был живой. Он поднял лошадку, повертел и положил обратно: она была не его.

На двери, под ручкой, кто-то нацарапал углём: «дошёл». Ниже другим почерком приписали: «и назад».

На девятнадцатой ступени, рядом с рыбой, весь день сидел мальчишка лет девяти, найр, тощий, с тонкой шеей, и рисовал углём на камне. Когда Тавьер проходил мимо, мальчишка закрывал рисунок ладонью и смотрел снизу вверх, не мигая, как смотрят на мэйрука, когда тот вот-вот скажет, что слышит. Вечером его увела за руку горбатая тётка в шали. На ступени остался рисунок: человек с мешком на спине, а за ним вниз, во тьму, ступени, нарисованные так мелко и так много, что у Тавьера зарябило в глазах.

Ночью он стоял у окна рядом с урной и смотрел вверх.

Иммарр висел над Тэмхой белыми домами, освещёнными изнутри. Дом Веш был виден отсюда, если знать, куда смотреть: третий от лестницы, с колоннадой, и в верхнем этаже, не в самом крайнем окне, свет горел до поздней ночи. Тавьер не знал, её ли это окно. Он смотрел на него, пока оно не погасло, а потом на место, где оно было. «Я потом приду, – сказала она на пятьсот шестьдесят третьей ступени. – В Тэмху». Он умел не ждать. Отец научил, в девять лет, один раз и на всю жизнь. Окно в Иммарре было тёмное, и он знал, какое оно.

На третью ночь без сна он оделся, взял мешок, подбитый овчиной, взял фонарь и вышел.

Он не решал. Ноги двадцать лет ходили этой дорогой и пошли сами. Крэнна шуршала, как всегда. Только в водостоке на углу, когда он присел над ним с фонарём, шорох стих разом, и пучок рук, сбившихся к тёплой стене, лежал неподвижно, будто прислушивался. Потом шорох возобновился. Тавьер решил, что это от фонаря.

Улица Харров была мокрая. Из-под трёх прачечных текла по камням тёплая мыльная вода, у порогов стояла белая пена, и от неё поднимался пар: это была первая настоящая ночь зимы, с инеем на перилах. Рука была на месте.

Он знал, что она будет там, и всё равно остановился. Левая, женская, узкая, с кольцом, которое вросло в палец целиком и просвечивало сквозь кожу тусклым обручем. Она лежала у водостока напротив второй прачечной, на том же камне, и писала. Длинная петля вниз, короткая вверх, крючок, точка. Вода смывала. Она писала снова. Он видел её здесь в последнюю ночь перед Гуррэном и думал тогда, что через день-другой она уползёт к стене потеплее, в пучок к своим. Прошло больше двух недель. Она писала.

Тавьер присел и подышал в ладони. Тогда он решил про неё: единственная вещь в квартале, которая всё ещё чего-то хочет. Теперь он думал, что ошибся. Она не хотела. Она просила. Разницу он узнал у кровати за печкой, когда мать сказала «я хочу лечь», и двадцать лет никто не мог этого выполнить.

– Я не знаю, кого ты просишь, – сказал он руке. – Пошли. Там тепло.

Рука перестала писать и приподняла пальцы, как слепая, которая слушает, кто пришёл. Он подвёл под неё ладонь, медленно, как к чужой собаке. Рука была холодная от мокрого камня и гораздо легче, чем он думал, а кольцо под кожей твёрдое. Она не схватила его. Она долго думала, а потом

указательный палец лёг ему на ладонь и вывел: петля вниз, короткая вверх, крючок. Точку она поставила ногтем, и ноготь побелел.

Дома он поставил новую банку, сорок четвёртую, на нижнюю полку, туда, где освободилось место у трубы. Подстелил шерсти. Посадил руку. Она ощупала стекло, нашла, что оно гладкое и тёплое, и сразу начала писать на нём. От её тепла на стекле выступила испарина, и знак держался в ней дольше, чем на мокром камне. Тавьер взял уголь, чтобы подписать банку, как подписывал все: имя, улица, где лежала. Улицу он написал. Имени не придумал. Он долго стоял с углём над банкой и в конце концов написал то, что она писала сама: «Прости». Ключница, соседка по полке, повернула к новой своё кольцо и затихла.

Под утро он снял рубашку, чтобы умыться, и достал из материнского ящика с иголками осколок зеркала.

Зеркало было треугольное, в ладонь, с отбитым углом. Мать смотрелась в него, только когда за бельём приходили из Иммарра: не застряло ли что в зубах. Тавьер не смотрелся никогда. Он поднёс осколок к груди и стал смотреть по частям.

Кора начиналась на левом плече, там, где семь лет было

пятно с ладонь и где он тысячу раз в день поправлял ворот. Пятна больше не было. Плечо потемнело целиком, кора обтекала ключицу и спускалась по груди широким языком до середины, до того места, где у матери за рёбрами срослись лёгкие. Мелкая, плотная, петля к петле, ни одной не туда. Тёплая. Он провёл по ней пальцем, и палец ничего не почувствовал, а грудь почувствовала, но издалека, как чувствуешь руку через толстую шерсть.

Ниже ключицы, там, где на пятом ярусе проклюнулась почка, а на уступе у провала лопнула, когда он поймал Ульму, был цветок.

Маленький, с ноготь мизинца. Пять тонких лепестков цвета внутренней стороны губы, бледнее садовых, почти белые. Он раскрылся в одну из этих ночей, когда Тавьер сидел у табурета, не дождался, чтобы на него посмотрели, и засох. Лепестки стали бумажными, прозрачными по краю и загнулись внутрь, к серединке, как пальцы, которые что-то держат. Тавьер наклонил голову и понюхал. Пахло пылью. А под пылью, на самом краю, молоком и сеном.

Он вспомнил цветок в чашке без ручки на подоконнике Ойсы Квелл. «Он закончился. В позапрошлый Сулэйн. Мне его принесли. Я не стала выбрасывать».

Он поднёс ноготь, чтобы снять цветок, и не снял. Ничего не выбрасывай. Он убрал зеркало в ящик, надел рубашку и застегнул до горла, и пуговицы на груди сошлись туже, чем неделю назад.

Уснул он на четвёртую ночь, на полу у табурета, сидя спиной к стене, там, где засыпал в детстве. Не заметил, как. За занавеской рука на нижней полке писала на стекле, скрип ногтя, петля, крючок, точка, и под этот мерный скрип, как под чужое дыхание, его не стало.

Ему приснилась комната, где пахло горячим оловом.

Низкая комната, тёмные балки, на балках кружки, ковши, воронки, вёдра с новыми светлыми днищами. На верстаке у окна остывал паяльник, и запах олова и жжёной канифоли стоял такой густой, что его можно было жевать. Это была Лудильная улица. Тавьер не знал, откуда он это знает. Он знал всё. Знал, что на кровати у стены лежит старик, длинный, сухой, и ноги у него ниже колен давно ушли в доски, так что кровать была ему вместо сапог. Знал, что дверь на улицу открыта и в неё тянет холодом и лаххом. Знал, что у кровати сидит старуха, маленькая, с очками, вросшими в переносицу, и держит старика за руку, и рука у неё сухая и горячая, как противень.

И знал, что кто-то говорит. Голос, ни мужской, ни женский, ровный, рассказывал старику, как пахла крыша мастерской, когда на ней сушили новые вёдра, про отца, который бил его ковшом по затылку, не больно, для порядка, про первую дырку, которую он запаял сам, в восемь лет, в соседском чайнике, и как она потом всё равно текла. Тавьер не видел, откуда голос. Голос был не в комнате. Голос был ближе.

Старик слушал и улыбался беззубым ртом. Потом открыл глаза и повернул голову к сестре.

– Вэта, – сказал он тонким, детским голосом. – Коза.

– Какая коза, – сказала старуха. – Лежи.

– Белая. Мэка. С рваным ухом. – Старик сжал её пальцы. – Это я её отвязал. В год до мора. Хотел посмотреть, куда она пойдёт, если её отвязать. Она пошла к оврагу. А я сказал, что волки. Ты три дня ревела. – Он помолчал. – Прости меня, Вэта.

Старуха смотрела на него сквозь вросшие очки. Потом засмеялась, сухо и коротко, как кашлянула.

– Дурак ты старый, – сказала она. – Я знала. Я сто пятьдесят лет знала. Ты весь в шерсти был.

– Знала?

– Знала. Я ждала, когда скажешь.

Старик закрыл глаза. Голос договорил что-то про овраг, про белую козу, которая стоит на краю, смотрит вниз и не прыгает, и ничего не боится, потому что ей можно. И Тавьер почувствовал, как в комнате сзади, у кровати, прогибается что-то тяжёлое, медленно, осторожно, как садятся с краю, чтобы не разбудить.

Он проснулся.

Было серое утро. Он сидел у табурета, спиной к стене, и левая сторона груди горела так, будто к ней изнутри приложили ладонь. Он расстегнул рубашку. Кора была горячая. Он повёл пальцами вниз от ключицы и у самого края, там, где вчера кончалась кора и начиналась кожа, нащупал новый край. Тонкий, в волос толщиной. Годовое кольцо на срезе дерева: его не видно, пока не проведёшь ногтем.

Он застегнул рубашку, взял плоскую корзину и две миски Гарры Тамм, чтобы вернуть, и пошёл вниз, к рынку у нижнего моста, потому что в доме не было хлеба и потому что надо было куда-то идти.

У моста торговали с рассвета. Пахло рыбой и мокрым деревом, торговки говорили все сразу, через головы покупателей. Хлебница, широкая эрна с белыми от муки бровями, узнала его, вспыхнула, сунула ему два плоских хлеба вместо одного и не взяла монету, и он стоял с хлебом в корзине и не знал, как уйти.

– …а на закате его вчера и читали, – говорила за его спиной рыбница через свой лоток кому-то третьему. – С Ратховой ступени. Я сама слышала, ратхин так и прочитал вниз: «Дувв, лудильщик, с Лудильной». Сто шестьдесят с чем-то лет ждал. Ночью и ушёл.

– Дувв? Который вёдра чинил?

– Он. Ноги у него в кровать ушли, сорок лет не вставал. А руки, говорят, до последнего паяли, ему на кровать верстак подвигали.

– А держал кто? Родни ж никого.

– Как никого, – сказала рыбница и шлёпнула рыбину на доску. – Сестра у него. Вэта. Слепая почти, у неё очки в лицо вросли. Она и держала. Всю жизнь с ним цапалась. Из-за какой-то козы.

Хлеб в корзине был тёплый. Под рубашкой, у нового края коры, было горячее хлеба. Он стоял, держа корзину обеими руками, и не мог вспомнить, в какую сторону дом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.